

МИХАИЛ ЛУЗГИН *

Погиб 28 сентября 1942 г.

ПИСЬМО О. Е. ЧЕРНОГО К М. И. КАГАН

⟨Начало октября 1942 г.⟩

Дорогая Мария Иосифовна, с чувством ужасной, невыразимой боли я должен вам сообщить о Михаиле Васильевиче: 28 сентября мы находились с ним в первом эшелоне, неподалеку от командного пункта. Днем это место подверглось артобстрелу. Нас было трое работников редакции¹. Снаряды падали довольно далеко от нас. Внезапно один разорвался совсем близко, рядом. Осколками были поражены и Михаил Васильевич, и заместитель редактора Бочаров. Бочаров умер тут же, Михаил Васильевич прожил еще несколько минут. Осколок попал в шею. Эти несколько минут он, по-видимому, в сознание не приходил. Я, раненный, видел его. При мне его отнесли на плащ-палатке к дереву, туда же прибежал немедленно врач, но спасти было невозможно. Это произошло в 4 часа дня. На следующий день, 29-го, оба были похоронены близ командного пункта. Им были отданы воинские почести.

Писать мне об этом очень трудно. Я умоляю вас, дорогая Мария Иосифовна, собрать все свое мужество, всю выносливость и стойкость. Михаил Васильевич погиб, как человек долга, человек большой совести и большого сердца. Меня с ним связали 15 месяцев войны, многие трудные и страшные дни. Не мне говорить вам об изумительной честности и благородной душе Михаила Васильевича, но, может быть, в вашем горе некоторым облегчением послужит то, что я, наблюдавший Михаила Васильевича во все дни войны, тоже знаю, что он, человек необыкновенно нежной души, рыбак и мечтатель, вступил в эту войну как человек больших и твердых решений и как писатель-большевик. Таким он остался до последнего дня. Я видал, как в испытаниях и боли этой войны он раскрывался, и с большой радостью ощущал его развитие как художника, обещавшее еще больше того, что он успел уже дать. Он мечтал о мирной жизни, но ни разу за 15 месяцев не уклонился с пути, который в дни войны добровольно для себя избрал.

К вам он был привязан беспрдельно и говорил о вас с любовью, которую я не в силах передать. Смерть наступила почти внезапно, она не сопровождалась мучениями, но трагически пришла в тот момент, когда многое очень тяжелое казалось пройденным. Мы с Михаилом Васильевичем должны были приступить к работе несравненно более широкого плана и для этой цели были вызваны в первый эшелон².

Мария Иосифовна, дорогая, позвольте мне вас так назвать, я являюсь вестником вашего горя, но, быть может, легче узнать об этом от человека,

* Публикация М. М. Ситковецкой. При подготовке к печати в текст письма О. Е. Черного и следующего далее очерка автором внесены некоторые стилистические исправления.



КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ БИЛЕТ М. В. ЛУЗГИНА — СОТРУДНИКА ГАЗЕТЫ

64-й АРМИИ «ЗА РОДИНУ»

Сталинградский фронт, 1942

Собрание М. И. Каган, Москва

который 15 месяцев изо дня в день был бок о бок с Михаилом Васильевичем и успел привязаться к нему и полюбить. Впрочем, его любили и уважали все, и весь коллектив пережил это как тяжелую личную утрату.

Я обращаюсь к вашему мужеству и воле. Мы видали с Михаилом Васильевичем много тяжелого вокруг. И вы видали достаточно. Пусть же ваше личное и большое горе не вытеснит из сердца того, что поддерживает нас всех и определяет в эти дни всю нашу жизнь. Друзья Михаила Васильевича, в том числе Фраерман и я, будем счастливы считать вас своим другом до конца наших дней.

Я после ранения лежу в госпитале; это полевой госпиталь; дальнейшего своего маршрута я не знаю, но, надеюсь, месяца через полтора вернусь снова в редакцию. Если вы дадите знать о себе, я буду вам благодарен безмерно. Позвольте мне крепко, крепко пожать вашу руку, дорогая Мария Иосифовна, и выразить надежду, что вы и в горе останетесь такой же, какой я вас знаю со слов Миши.

Черный

1576 ппс, 606 часть, Осип Евсеевич Черный

ЦГАЛИ, ф. 1828, оп. 1, ед. хр. 41, лл. 11—12.

¹ Редакция газеты «За Родину», 64 армии, участвовавшей в обороне Сталинграда.

² Об этом задании Военного Совета армии — писать историю Сталинградской битвы — см. ниже, стр. 646 настоящей книги.

МИХАИЛ ЛУЗГИН

Воспоминания Осипа Черного

В шесть часов утра — все еще спали и было темно — в хату вошел Михаил Лузгин. Он осторожно пробрался к окну, стараясь не задеть тех, кто лежал на полу. Пробравшись, Лузгин сообщил, что наши войска освободили Ростов. Голос у него был глуховатый, не сильный, но после первых же слов все приподнялись.

Был конец ноября. Первая зима войны. На нашем участке мы оставили Малоярославец еще месяц назад. Немцы приближались к Подольску и бомбили его каждый день. За спинами вставали стены Москвы.

Впервые за несколько месяцев мы вдохнули в себя воздух победы. Сводку приняли ночью в Военном Совете армии. Подробности Лузгин не знал. При всей своей нелюбви к многословью он повторил нам то, что было ему известно, еще раз и еще один раз. При этом, не желая показаться взволнованным, он искал по карманам мундштук, который чёрт его знает куда пропал. Мы лежали на полу и не решались выразить вслух свои чувства.

Оказалось, что Лузгин ночью попал на командный пункт армии. Когда ему предложили съездить в редакцию¹, — на случай, если там еще не приняли сводку, — он, выбежав из избы, добежал до шоссе и вскочил на попутную машину. Только отъехав, он заметил, что сидит в кузове без варежек и ушанки. Всю дорогу, километров 18, Лузгин молча тер уши и натягивал на голову воротник шинели. Теперь он озабоченно искал свой мундштук.

Через несколько часов пачки нашей газеты с известием о ростовской победе повезли на фронт. Вечером, когда материал для следующего номера был уже сдан, сотрудники собрались в хате. Хата была тесная. На стене висела гитара. Михаил Васильевич снял ее, разостлал на полу шинель и сел на нее; остальные уселись вокруг. Глуховатым, низким, приятным голосом, аккомпанируя себе, он запел. Он пел простые, задушевные песни, и мы слушали его весь вечер.

На следующее утро Лузгин снова отправился на переднюю линию. Он вышел на дорогу немного нескладный, как всегда. Шинель сидела на нем мешковато, чужая ушанка была слишком велика. Он шел чуть враскачку, сутулясь, но при этом с присущей ему какой-то особенной легкостью.

Эта легкость бросилась мне в глаза еще в первые дни, когда я увидел Лузгина в ополчении. Среднего роста, в очках, лишенный военной подтянутости, он производил впечатление человека совершенно штатского; и тем не менее в нем ощущались выносливость, независимость и внутренняя упругость. Ушел Лузгин из Москвы вместе со всеми — с вещевым мешком за спиной и в штатском костюме. 10 июля вечером через Красную Пресню проходила дивизия добровольцев. Тут были учителя и инженеры, рабочие и актеры — кого только не было! Пока мы шли городом, на нашем пути стояли женщины с полными ведрами. Они зачерпывали воду из ведер и поили нас, многие плакали. Вечер был тихий и строгий. Нескончаемый топот тысяч идущих отдавался на улицах.

С Пресни свернули на Ленинградское шоссе. Затем длинные тени его домов остались позади, и открылись просторы полей. Шли всю ночь с короткими остановками. С этой именно ночи и начались долгие, трудные и сложные переходы ополченцев. Жара стояла в те дни невыносимая, пылающее солнце жгло безжалостно, и люди обливались жгучим потом.

Писателей в ополчении было человек 80. Большинство знало друг друга близко. Но уже на первых привалах стали намечаться какие-то новые центры дружбы — не писательской, а простой солдатской. Оборвав привычные связи, люди нуждались в чем-то бесхитростном, ясном и твердом. Лузгин вовсе не был простым человеком. Очки, которые он носил, набрасывали легкую тень на его лицо, как бы подчеркивая выражение душевной сложности. И улыбка у него была сложная — то немного насмешливая, то язвительная, то вдруг приязненно светлая. Но потому ли, что он был близок к природе и прежде, потому ли, что у него были золотые руки умельца, потому ли, что в труднейших условиях вообще стали виднее основные, глубинные, свойства людей, к нему потянулись многие. В нервном и замкнутом Лузгине еще отчетливей открылся испытанный, со своим достоинством и со своей скромностью, большевик. На привалах непременно кто-нибудь подсаживался к нему: даже портянку перемотать и покурить молча и то было приятней, сидя рядом с верным товарищем.



ГРУППА СОТРУДНИКОВ ГАЗЕТЫ 64 АРМИИ «ЗА РОДИНУ»

Слева направо: М. В. Лузгин, И. Давыдов, А. А. Зворыкин (редактор газеты), О. Е. Черный
Фотография. Сталинградский фронт, 9 июля 1942 г.

Собрание О. Е. Черного, Москва

Писатели шли защищать Родину. Они — это было ясно с первых дней — шли умирать. В эти трагические дни начала войны всё казалось решенным раз навсегда. Но как ни были собраны и суровы ополченцы, время от времени прорывалась кой у кого старая звонкая и пустая фраза. Лузгин не любил ее. Он терпеть не мог позу. Свое солдатское дело он выполнял скромно, без показного блеска, но с требовательностью к себе. При этом он уклонялся от каких бы то ни было поблажек: можно было пойти работать в дивизионную газету — Лузгин не пошел; больной туберкулезом, он мог остаться работать при нашей санчасти, но и от этого отказался.

Где-то по пути мы помогали прокладывать водопровод, и Лузгин молча таскал бетонные трубы. Затем занялись постройкой лагеря, и он переносил, подставив плечо, тяжелейшие коряги. Через два дня лес вокруг нас оказался вырубленным, и Лузгин стал таскать бревна за три километра.

В этом лагере наш полк провел всего лишь одну ночь. Ночью нас подняли, и мы пошли получать оружие. Начался проливной дождь. Идти пришлось далеко. Винтовки оказались новые, густо смазанные фабричным маслом. Класть их на плечо было нельзя — они испортили бы одежду, и тащили их держа на весу. Они выскальзывали из рук то и дело. Под проливным дождем, промокший до нитки, Лузгин, удерживая с величайшим трудом две винтовки, пробирался в полной темноте, ничего не различая, спотыкаясь и оступаясь.

На рассвете я увидел, как он, сидя на мокром пне, попыхивая мундштуком, протирает части врученной ему винтовки. Через час полк двинулся дальше.

Начались тяжелые 50-километровые переходы. Когда где-либо делали долгий привал, приступали к рытью окопов. Я помню, как в первый раз Лузгин аккуратно обвел лопатой по дерну границы своего участка. Земля была сначала мягкая, но чем дальше, тем она поддавалась лопате все труднее. На третий день пришел приказ рыть рвы значительно шире и на большую глубину. Земля оказалась невероятно злой: она прилипала к лопате, и, чтобы сбросить ее, приходилось делать широкий размах. Лузгин стоял так глубоко, что каждый раз подымал лопату почти вровень с плечами. Руки у него были в ссадинах, но он уверенно вел своих соседей в соревновании. Когда наступал перерыв для короткого перекура, он счастливо затачивался, затем опять принимался копать. В эти дни он чувствовал себя на своем месте.

Но вот, как это бывает на войне, судьба его вдруг решительно переменялась: однажды под вечер небольшой группе писателей приказали собрать свои вещи. Сборы были короткие. Через 20 минут всех усадили в машину и доставили в штаб полка. На утро автобус привез нас в штаб фронта, а через три дня каждый оказался на своем новом месте — в армейской газете. Лузгин, Фраерман и я попали в газету 43 армии, державшей в ту пору оборону на Десне.

Лузгин, человек бывалый, участник гражданской войны, пошел к этой новой, пока что непонятной и довольно-таки поначалу страшной, войне на учебу. Незадолго до того, как она началась, кажется, весной, вышел номер «Московского альманаха» с его рассказом. Рассказ, называвшийся «На реке», отличала поэтичность, соединенная с чертами своеобразной наблюдательной трезвости; он был полон ощущения реки, деревенской жизни, того нового, что внес в нее колхозный строй; рыбная ловля, до которой Лузгин был страстный любитель, описана в нем превосходно. Примерно в то же время стали появляться рассказы Лузгина и в журнале «Пионер». Писатель находился на повороте своего пути: чувство привязанности к обыкновенным людям, к нашим детям овладевало им как художником все сильнее. Его, это чувство, усиливало и украшало тонкое ощущение природы, которую Михаил Лузгин так любил и которую понимал по-своему — чутьем рыбака, охотника, человека, давно установившего с нею прочные тесные связи.

Можно было идти на войну, сохранив в памяти острые впечатления от последней поездки на реку, от последнего необыкновенного заката. Но для того чтобы прямо участвовать словом в ее трудном деле, нужно было, чтобы перо стало отточенным, злым и страстным. Лузгин учился у войны честно и упорно. Учеба давалась ему нелегко. Я помню первые его материалы: он писал и о героях тех дней, и о ночной вылазке, и о небольшой операции. Почерк его не был ни беглым, ни быстрым. Он писал — я решусь сказать — мучительно. Мы стояли в те дни в лесу. Лузгин забирался в самые глухие места. Он то садился на пенек, то подсаживался к столу, который сколотил сам, то уходил куда-то в сторону. Он боялся чужих взглядов, замыкался в себе, набирая силу для очерка, отцеживая его по каплям. Затем его вдруг охватывало ощущение целого. Тогда он начинал писать с иступленной быстротой, его даже в пот кидало от внутреннего напряжения.

Может быть, те, кто небрежно листают комплекты армейских газет, видя небольшие наши заметки, не поймут этого состояния. Но, мне кажется, можно позавидовать тому тяжкому, почти подвижническому труду, с которым создавал свои материалы о войне искренний, честный, искушенный писатель Михаил Лузгин.

Он не был чистюлей: он делал все, что бывало необходимо. Как-то раз его вызвал к себе наш редактор и попросил дать в номер что-либо сатирическое о немцах. Немцы шли на наши позиции колоннами танков и не раз

обращали в бегство пехотинцев. Нужно было развенчать созданный ими миф о непобедимости. Задача была нелегкая: вытащить врага из бронированной коробки его танка и превратить в обыкновенного фрица.

Лузгин взялся за это с той же внутренней напряженной ответственностью. Первая же его вещь, что называется, удалась: она понравилась, вызвала смех и сыграла свою полезную роль. С тех пор на протяжении своей армейской работы он давал, наряду с другими материалами, острые, злые, унижавшие и разоблачавшие врага сатирические портреты.

Нам в те дни казалось, что фронт более или менее прочно закрепился. С нашей стороны осуществлено было несколько местных наступательных операций. В начале октября одна из наших дивизий довольно удачно потеснила немцев. Лузгин вместе с другим работником газеты, Петром Крыловым, отправился туда — писать о героях этого частного наступления. Однако добраться до дивизии они не успели — навстречу им хлынула волна внезапно начавшегося отступления. Это было 5 октября. Вместе с Крыловым, мужественным человеком, Лузгин задерживал на дорогах лавину потерявших друг друга групп, группок и мелких подразделений. Мы встретились где-то по дороге. Лузгин пересел в нашу машину. Машина была полна до отказа. Он сидел съезжившийся от холода, посиневший, мрачный и молчал всю дорогу.

Ночью мы вырвались из кольца врага. Потеряв нескольких товарищей и две машины, мы двинулись на Малоярославец. Оттуда направились со всей своей громоздкой техникой на Калугу. По дороге, где-то в лесу, варили в ведрах картофель. Днем было солнечно, и дорогу развезло. Приходилось толкать застревавшие в грязи машины. К вечеру стало невыносимо холодно. Добравшись до Калуги, — откуда в это время отходили последние наши части, — мы повернули назад на Малоярославец. На следующий день Лузгин вместе с Крыловым ушел на фронт, проходивший уже вблизи от города.

Он проделал всю московскую кампанию. Он успел испытать ее горечь до дна, узнал драматизм ее напряженнейших дней. Но он видел и то, как шаг за шагом складывались условия для декабрьской нашей победы. Я помню, однажды, вернувшись из очередной поездки на фронт, — в дивизию, в полк, в батальон, — Лузгин рассказал мне под большим секретом, что командирам известен приказ Главного командования — удерживать позиции до 15 ноября: после этого положение должно измениться. Необыкновенно сдержанный в проявлении своих чувств, он сообщил мне об этом коротко, без подробностей, осторожно, но я — сильнее, чем когда-либо раньше, — почувствовал, какой внутренней страстью он живет. Это была страсть человека, отдавшего всю жизнь революции и партии.

Покашливавший, молчаливый, в иные часы угрюмый, Лузгин умел ошетиниваться, но он же проявлял и редкую чуткость. Бывало, если он обидит кого-либо, он не находит себе места, пока не объяснится с обиженным начистоту. Подозрительный, он был необыкновенно доверчив, и жило в нем что-то почти детски светлое, что легко было замутить, но что требовало полной чистоты. За его суховатостью скрывались сердечность и неподкупная прямота. Наверно, поэтому с первых же дней его пребывания в редакции все отнеслось к нему так хорошо: Лузгина полюбили, и его уважали. Самую горячую привязанность питал к нему в нашей редакции человек, который и сегодня, из отдаления, кажется мне одним из наиболее замечательных людей, встреченных мною в дни войны, — батальонный комиссар, журналист, а впоследствии боевой командир большого масштаба — Петр Тихонович Крылов. Он угадал Лузгина сердцем и привязался к нему крепко. Потом уже, оказавшись далеко один от другого, они долгое время не теряли друг друга из вида. И оба отдали свою жизнь за Родину во время сталинградских тяжелых боев.



МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НАД БРАТСКОЙ МОГИЛОЙ М. В. ЛУЗГИНА
и Н. В. БОЧАРОВА

Фотография. Сентябрь — октябрь 1942 г.

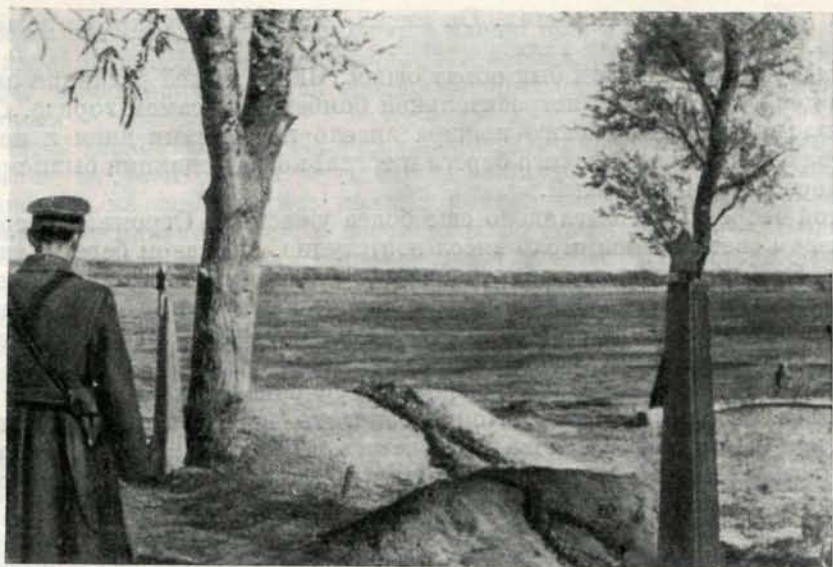
Собрание М. И. Каган, Москва

Еще не кончилась битва за Москву, когда очередная внезапная перемена открыла перед Лузгиным возможность заглянуть глубже, глазом писателя, в лежавший перед ним необъятный материал: в декабре нас с ним перебросили в другую армию — 64-ю. Первоначальной ее задачей было оборонять Москву на ближних подступах, но после того, как окончательно определилось, что враг принужден отступить и столицу ему не взять, армию нашу оставили в резерве. Мы ездили за материалом в бывшие свои части и вместе с ними двигались по местам, которые покинули в октябре.

Лузгин воспользовался некоторой передышкой и засел за рассказы. Первый рассказ оказался большим, с продолжением. Наш новый редактор несколько дней поглядывал на него с опаской. Наконец, он решился его печатать. И вот, как-то вечером, приехав, он вызвал нас к себе. Он сообщил, что член Военного Совета считает мысль о рассказах в газете удачной, да и самый рассказ Лузгина очень одобрил. С тех пор — явление для армейской газеты в то время редкое — рассказы стали неотъемлемой частью нашей работы. В этом была большая заслуга Михаила Васильевича Лузгина.

Он работал с тем же напряжением, если не иступлением. Драматизм материала проникал в привычную для писателя ткань, видоизменяя ее сообразно новой обстановке. Во всех работах Лузгина заключена была какая-то органическая актуальность. Он вступал в сферу военной и той послевоенной литературы, которая тогда лишь мерещилась нам, внутренне собранным. Я уверен: ему предстояло создать много сильных и цельных вещей, проникнутых ощущениями человека, созревшего в испытаниях войны. Наверно, Лузгин это чувствовал сам: сквозь испытания и трудности он проносил в те месяцы это воодушевляющее ощущение пришедшей к нему силы.

В начале сорок второго года Лузгин из своих военных рассказов и очерков составил книжку «Возвращение». Ее охотно принял Детиздат.



БРАТСКАЯ МОГИЛА М. В. ЛУЗГИНА и Н. В. БОЧАРОВА

У могилы редактор газеты 64 армии «За Родину» А. А. Зворыкин

Фотография. Бекетовка — южная окраина Сталинграда, сентябрь — октябрь 1942 г.

Собрание М. И. Каган, Москва

Лузгин успел увидеть лишь первые два ее экземпляра, которые ему прислали на фронт.

Мы находились уже далеко от Москвы: могучая рука войны перебрала нас туда, где в это время завязывался решающий узел второй мировой войны. Мы попали сначала на Дон, а затем, отступая, заняли позиции под Сталинградом. Армия, в которую мы оба попали, держала свой первый экзамен. Мы знали ее еще мало, немного опасались за нее и поневоле сравнивали всё с тем, к чему привыкли в боях под Москвой. И вот на наших глазах, день за днем, черта за чертой, как на камне, вырезывались непреклонное мужество и стойкость тех новых частей, с которыми нас связала судьба.

Разумеется, это случилось не в первый день: много горечи пришлось хлебнуть на степных просторах Дона. В дни передышки Лузгин, как-то привыкнув ко мне, выйдя из заграждений своей скрытности, раскрыл незаурядную силу и тонкость своего ума и своей наблюдательности. В нем, несмотря на прожитую большую и сложную жизнь, таились еще, мне кажется, очень большие резервы. Это был человек ума современного, сильного, диалектического, импонировавшего даже своей резкостью, потому что за ней всегда стояла честность.

Но в те трудные дни, когда вокруг нас все запылало, Лузгин снова сжался. Не было в нем этого дутого пафоса звонких слов. Он молча отправлялся со мной в части, молча терпел бесконечные налеты немецкой авиации, и даже, когда случалось нам купаться в реке Царице и стирать в ней белье, мы тоже молчали подолгу.

В тяжком гряде сталинградского корреспондента, добывавшего почти всё под огнем, Лузгин прошел многие испытания. Но даже в это горькое время на наших глазах, день за днем, все отчетливей определялось лицо той армии, в которую мы попали: она дралась с беспримерным мужеством, и мы оба уже гордились ею. Лузгин писал о ее бойцах, связистах, понто-

нерах, разведчиках, танкистах. Он писал, вкладывая в строки всю свою страсть.

23 августа Сталинград был объят огнем. Часть нашей редакции оказалась в день чудовищной истребительной бомбежки в самом городе. С той поры пламя сталинградского пожара висело перед нами днем и ночью. Мы наблюдали его и с правого берега и тогда, когда редакции было приказано перебраться на левый.

С той стороны все выглядело еще более ужасным. Огромный, черный, по вечерам светившийся столб висел неотступно. На левом берегу, где мы стояли, были пруды, и лес, и трава, но мы ощущали, что позади нас начинается степь Казахстана, и от этого зрелище пылавшего города становилось еще более трагичным. Лузгин очень страдал. Он не мог жить без веры. В те дни, подавленный, он продолжал верить в чудо.

Нелегко бывало после двух-трех дней условно спокойной жизни возвращаться на правый берег. Корреспонденты перебирались на лодках, часто под обстрелом, и снова включались в это огнедышащее побоище. Среди развалин и пламени они находили новые и новые образцы русской отваги, мужества и воинского уменья.

Возвращаясь на левый берег, Лузгин вознаграждал себя тем, что уходил удить рыбу. Он сделал для себя две удочки. В первый раз, когда Лузгин исчез, я долго не мог понять, куда же он скрылся. И вот он явился с двумя полными котелками, оживленный, отдохнувший душой. Мы пошли ужинать. Впереди в очереди стоял наш шофер Сама Якушев, тоже москвич (погибший через год на Украине). Разговор случайно зашел о рыбной ловле, и Лузгин нашел в нем понимающего слушателя. Они проговорили весь вечер, увлеченные, забывшие обо всем.

Мы спали с ним на плащ-палатке под деревом. Когда начались дожди, Лузгин построил шалаш из тростника, какой делают охотники. Затем мы решили строить блиндаж — по образцу, который увидели где-то в батальоне и который нам очень понравился. Блиндаж должен был быть комфортабельный. За что бы Лузгин ни принялся, он все делал умело, основательно, с каким-то особым вкусом к физическому труду. Я вспомнил тогда фотографии, которые он показал мне однажды в Москве: Лузгин был отличным фотографом. Он и сапожником был превосходным и обещал мне, если нам назначено вернуться домой, шить настоящие модельные туфли — для меня и для жены. Я знал, что раз уж он сказал, то сошьет непременно.

Однажды во время пребывания на правом берегу он встретил члена Военного Совета, генерала Абрамова. Лузгин вернулся ко мне в некотором возбуждении. Из его сдержанных слов я понял, что тот сильно похвалил его работу. Одобрение храброго человека, славившегося своей отвагой в нашей армии, окрылило его.

Мне кажется, что примерно в это же время стало складываться в его душе новое чувство. Сталинград пылал по-прежнему, армии вели кровавые бои, истекая кровью. Но все очевидней становилось, что сталинградская битва приобретает характер всемирно-исторический. Это сознание подымало всех, прибавляло сил и наполняло особой уверенностью.

Прошло несколько дней. Блиндаж был готов. Мы построили его на совесть, но жить нам в нем не пришлось. Еще днем товарищи приходили смотреть на него, а под вечер приехал редактор и объявил нам новость: Военный Совет считает, что пришло время писать историю сталинградской битвы. Мы должны были вдвоем переехать на правый берег.

Лузгин воспрянул духом. Угнетенный зрелищем продолжавшихся опустошительных разрушений, он словно увидел все из глубины завтрашнего дня. Он почувствовал себя участником того великого и бессмертного, что и тогда и сегодня обозначается одним словом: Сталинград.

Мы провели единственную ночь в нашем новом блиндаже. На рассвете мы переправились на правый берег. Мы вступили на него как старые знакомые и одновременно как люди, которых ожидает что-то бесконечно важное.

Через несколько дней Лузгин заболел. Он пролежал дня четыре в санбате и не смог пойти к члену Военного Совета. Но, когда он выписался из санбата, нас принял командующий — генерал Шумилов. Говорили о близкой зиме, о переправах во время ледостава. Было ясно, что отсюда мы с места не сдвинемся и путь может быть только один — на Запад.

Мы возвращались втроем, вместе с редактором. Уже темнело. Был чудесный осенний вечер, и за деревьями виднелась Волга.

Я не спрашивал Лузгина ни о чем. Он шел, словно ошетинившийся, и я понимал, что ему нужно скрыть свое волнение.

Через три дня он был убит.

Он не видал нашего полного торжества, но я знаю — даже в те дни, когда перед нами висело огромное страшное облако горящего Сталинграда, — Лузгин успел ощутить будущее с остротой предвидения и с убежденностью большевика.

Тем же снарядом был убит и другой наш товарищ, батальонный комиссар Николай Бочаров. Их похоронили в братской могиле на берегу Волги. На похороны пришли генерал Абрамов и политотдел армии. Когда их тела опускали в могилу, был дан залп.

Михаила Васильевича Лузгина в армии помнили долго, и когда наступили дни сталинградской победы, он одним из первых был награжден орденом Красной Звезды посмертно. Спустя месяц, армии, с которой он прошел самый тяжкий путь, было присвоено звание гвардейской. Перо писателя-большевика служило ей с беззаветной честностью в самые трудные для нее дни.

<1947>

ЦГАЛИ, ф. 1828, оп. 1, ед. хр. 41, лл. 1—10.

¹ Редакция газеты 43 армии «Защитник отечества».